

## «Язык» как семиотический объект: от античной к субъектной модели

А.А. Вдовиченко  
МОСКВА

Основные положения учения о знаках, как известно, были сформулированы стоиками задолго до времени Ч.С. Пирса и Ф. де Соссюра. От понятия фиксированной связи означающего и означаемого до признания того, что в действительности никакой «фиксированной связи» нет, всегда оставался один шаг – констатация того, что (1) наблюдаемое соединение одного мыслимого (воспринятого означающего) с другим мыслимым (означаемым) происходит в сознании, которое опосредует эту связь, и вне сознания эта связь вовсе не существует, и что (2) индивидуальные сознания, в которых эти связи устанавливаются, не тождественны между собой, – соответственно, и сами связи в сознаниях не тождественны и, значит, тождественных знаков («связей-единств») нет.

Стоики были как будто готовы сделать этот шаг, (1) различая *представление в душе*, помимо звучания слова и самого предмета, которому соответствует душевное представление, а также (2) определяя «обозначаемое» как некое «дело» (pragma), которое „мы умственно постигаем, а варвары не воспринимают, хотя и слышат звук» (как видно, и опосредованность (1), и нетождественность воссозданной связи в различных сознаниях (2) – для данного случая в сознании эллина, знающего эллинский «язык», и в сознании варвара, не говорящего по-эллини – очевидны для Секста, комментирующего стоические понятия означающего и означаемого<sup>1</sup>). Однако дать реализоваться субъектному индивидуально-сознательному принципу, т.е. прийти к выводам о несамотождественности самих знаков, стоическая теория не могла, поскольку прежде всего видела перед собой главный объект, который отрицать и отменять было заведомо невозможно – предметные слова, явно что-то значащие («если бы они были не тождественны в своих значениях для всех, то не было

---

<sup>1</sup> См. Секст Эмпирик. Против ученых // Секст Эмпирик. Соч. в 2-х т. Т.1. М., 1975. С. 349.

бы ни понимания, ни говорения, – а они очевидно есть»). Отмена самотождественности слова провоцировала теоретическую деструкцию и/или реконструкцию таких масштабов, решиться на которые у античной науки не было ни теоретических возможностей, ни необходимости. Поэтому теория знаковости слов в итоге игнорирует второе обстоятельство («нетождественность»), а первое, благодаря игнорированию второго, само собой теряет актуальный смысл: зачем упоминать об опосредующем сознании, если фактор сознания не вводит никакой дополнительной переменной в описание процесса означивания? В итоге античная семиотика оставляет нерушимым «единство» означающего и означаемого, так как будто оно существует независимо ни от чего и так как будто их связанность имеет объективный, автономный от сознания характер. В проекции на языковой материал стоическое понимание знака означало то, что связь предметного элемента (слова, части слова, сочетания слов и т.д.) и его означаемого – закреплена, и что отдельные слова, их части и сочетания сами по себе что-то определенное значат. Как известно, на этом основании не только стоики, но и Ф. де Соссюр воздвигал свою модель лингвистической дескрипции (попутно следует заметить, что признание объективности языковых знаков по преимуществу было спровоцировано платоновским учением об идеях, которое представляло по сути попытку обретения тождества в очевидно нетождественных индивидуальных сознаниях).

Другими словами, стоическую (и затем соссюровскую) теорию знаковости, примененную к лингвистическому материалу, можно сравнить с игрой в раскрашенные кубики или с собиранием «пазла»: изображение, нанесенное на предмет, является закрепленным за предметом свойством, соответственно, «язык» состоит из множества кубиков-«означающих», сопряженных с изображениями-«означаемыми». Исследователь берет кубик – и одновременно берет нанесенное на него изображение; исследователь выбирает нужное ему «изображение» – и одновременно в руках у него оказывается кубик. Посредством смысло-формального единства, постулированного для процесса означивания, семантическая доктрина стоиков и Соссюра стремится к той же мере закреплённости означаемого за означающим, в какой изображение на кубике закреплено за самим кубиком.

Однако подходить к «языку» как к «пазлу», или набору кубиков с нанесенными на них изображениями (связь кубика и нанесенного на него изображения однозначна, фиксирована) в действительности с очевидностью невозможно: между языковой предметностью и тем, что она означает, связь устанавливается субъектным сознанием, а не фактом механической предметной соположенности «означающего» и «означаемого». Эта опосредованность всегда содержало в себе угрозу – разрушить тождество предметного материала, или античное двухчастное единство «слово–значение», а это, в свою очередь, приводило предметно-ориентированную теорию в концептуальный тупик. Тот самый варвар, который не распознавал эллинское означаемое посредством слышимого и видимого означающего, по-видимому, все же не держал в руках кубик с изображением (т.е. одновременно означающее и означаемое) – иначе их единство было бы понятно ему с той же определенностью, с какой понятен любому, даже несмышленому, тот факт, что он, держа кубик, держит в руках предмет определенного цвета, с определенным изображением. Не понимая эл-

линских слов, он, упомянутый Секстом варвар, явно нарушал условия стоической схемы, которая требовала определенности в вопросе о связи слова и значения. С учетом «варварского» мнения стоическая теория о знаках не строилась. Поэтому фактор сознания – «варварского» или какого-то еще – сам собою уходил в тень, выносился за скобки теории, а в скобках оставались эллины с их заведомым – теоретически невнятным, но будто бы единым – знанием значений эллинских слов-«кубиков». Эту постоянную величину («знание *всеми* эллинами *всех* слов») можно было изъять из уравнения, описывающего процесс семиозиса, и отвести сознанию (поскольку оно будто бы едино у всех эллинов) роль статиста. «Стройная» античная теория знаковости возникает, таким образом, вследствие недосказанности, умалчивания шаткости ее оснований: стоики признают, что процесс семиозиса обеспечивается – вспомним «кубики» – фиксированной связью между означаемым и означающим, хотя фиксированной (самотождественной, предметной) связью между означаемым и означающим с очевидностью – вспомним «варвара» – нет.

Неудивительно, что подробные исследования в области знаков, вновь после стоиков инициированные в науке о языке, так или иначе должны были привести к признанию опосредованности и субъектности знака, т.е. к отмене стоическо-соссуровских «кубиков» лингвистической теории. Само развитие семиотики неизбежно вело к тому, что предметные элементы, выделяемые в речи (слова, словосочетания, морфемы, звуки, предложения и пр.), должны были когда-нибудь потерять свою знаковость (понимаемую как *единство* обозначающего и обозначающего) и потребовать вписывания в более сложные теоретические схемы, в которых не сами предметные элементы что-то значат и образуют, а субъектное сознание их означивает и выстраивает в актуальный порядок.

Так, фотографическое изображение, понимаемое в духе античной знаковости, устанавливает связь с реальным человеком (скажем, с тем самым Дионом, о котором говорил Секст Эмпирик), оно является означающим для соответствующего означаемого. Установление их связи – изображения (означающего) и понятия о самом Дионе – и есть семиозис, процесс означивания. Однако что же представляет собой фотография Диона для того, кто никогда не видел живого Диона и ничего о нем не знает? По-видимому, для такого человека – и это уже не античная, а новая знаковость – фотография будет означать *не-что иное*, нежели для того, кто узнает по изображению своего знакомого. Таким образом, является ли фотография (иконическим, по Пирсу) знаком? По-видимому, для приятеля Диона – да, а для «варвара», не имевшего чести знать Диона, – нет. Так *знак* ли фотография Диона, или *не-знак*? И в чем же дело? Почему один и тот же предметный элемент (фотография) не представляет собой самотождественного единства означаемого и означающего? По-видимому, все дело в опосредовании семиозиса сознанием, вне которого рассуждения о знаковости данной фотографии (и знаковости фотографии вообще) будут бессмысленны: если в сознании еще до взгляда на фотографию нет понятия о Дионе (или это понятие – «слишком личное», а других, заметим, просто нет), то никакого общезначимого знака – ни иконического, ни какого-либо другого – фотография в себе не несет.

Подобно тому, как фотография не является фиксированным единством, образующим «знак», не несет в себе никакой знаковости и предметный лингвистический материал, в т.ч. (и прежде всего) – отдельное слово. Взятое в качестве носителя «значения», слово, как и «вообще-фотография», тем самым облекается невозможными для него полномочиями, поскольку для того, чтобы быть означающим, ему всегда необходимо опосредование – актуальный, индивидуальный, интегрирующий конкретную ситуацию *процесс в сознании*. Само же по себе слово представляет собой ничуть не более, чем последовательность гласных, шипящих и пр. звуков, имеющих физическую и физиологическую природу и не имеющих никакого отношения к процессу семиозиса: в самом деле, если исключить опосредующее сознание из схемы связи означающего и означаемого, то именно означаемому не найдется места в этой схеме, поскольку именно оно с очевидностью «помещается» в сознании (связь означаемого и означающего – это не связь субстрата и слова, а связь *мыслимого образа* субстрата и (мыслимого) слова, как учили сами же стоики).

Итак, в приложении к лингвистическому материалу стоическое (и сосюрское) учение о связи между означающим и означаемым, вполне соответствующее образу кубиков («слов») с нанесенными на них изображениями («значениями»), игнорировало или умалчивало полнейшую очевидность – сознающего субъекта, и по мере того стоическое (сосюрское) учение в области лингвистической и вообще знаковой дескрипции обнаруживало теоретическую недостаточность. По-видимому, первым шагом в отказе от кубиков должно было стать введение субъекта в теоретическую схему семиозиса. Этот шаг совершался едва ли не в течение всего 20-го столетия.

Так, в начале семиотическая доктрина, еще стоящая по существу на античных позициях, в лице своих главных представителей отстаивает принцип объективной значимости знаков и знаковых систем. Именно в этом смысле Соссюр постулирует идеальный объективный «язык», изгоняя личностный принцип из процедуры описания, Ч.С. Пирс даже не замечает существа вопроса, наблюдая разновидности знаков (для него знаки – просто существуют, они объективны и сами собой интегрированы в действительность), а Ч. Моррис (в 1938 г.) открыто отстаивает возможность исключить субъектную проблематику из семиотических исследований:

«Непосредственное восприятие в опыте ситуации значения у  $u_1$  и  $u_2$  может быть различным, но, тем не менее, оба они могут иметь одно и то же общее понятие и, как правило, в состоянии решить, что хочет сказать другой посредством знака и в какой степени эти два значения одинаковы или различны. Для того чтобы определить, какое значение имеет  $S_1$  (то есть – знаковое средство) для  $u_1$  исследователю совершенно не нужно становиться  $u_1$  или иметь такое же восприятие  $S_1$ , как  $u_1$  – (1) *достаточно определить, как  $S_1$  связано с другими знаками, употребляемыми  $u_1$ , в каких ситуациях  $u_1$  использует  $S_1$  для целей означения и каковы ожидания  $u_1$ , когда он заставляет реагировать на  $S_1$  (курсив и цифры в скобках здесь и далее в цитате мои – А.В.)*. В той мере, в какой указанные отношения оказываются одинаковыми для  $u_2$ , как и для  $u_1$ ,  $S_1$  имеет для

них одинаковое значение; в той мере, в какой эти отношения для  $y_1$  и  $y_2$  различны, различается значение  $S_I$ .

Итак, поскольку (2) значение знака исчерпывающе характеризуется установлением для него правил употребления, значение любого знака может быть в принципе определено с помощью объективного исследования. А поскольку таким образом можно (если это целесообразно) стандартизировать такое употребление, то результатом является (3) потенциальная intersубъективность значения любого знака. Даже тогда, когда знаковое средство субъективно по своим внутренним свойствам, существование его с тем или иным значением может быть подтверждено опосредованно. Верно, что на практике определение значения сопряжено с трудностями и что различия в употреблении знаков даже членами одной социальной группы очень велики. Однако, (4) с точки зрения теории, важно понять, что субъективный характер некоторых данных опыта и даже восприятий в опыте знакового процесса совместим с возможностью объективного и исчерпывающего определения любого значения»<sup>2</sup>.

Как видно, объективность знака является для классического семиотического исследования главным условием (2), нарушение которого провоцирует отмену всего воздвигнутого теоретического здания: представим себе, что для одного интерпретанта нечто представляется знаком, а для другого – нет. О каком знаке, в таком случае, толкует теория – о том, который существует, или о том, которого не существует? При этом основными чертами позиции Морриса нужно признать, во-первых, то, что субъект не отрицается и не исключается с той определенностью, которая присуща стоикам и Соссюру (так, объективность, согласно Моррису, уже является intersубъективностью (3), (4) – субъект не умалчивается); во-вторых, в связи с первым обстоятельством, признается, что

«на практике определение значения сопряжено с трудностями и что различия в употреблении знаков даже членами одной социальной группы очень велики»<sup>3</sup>;

и в-третьих, – что процесс достижения искомой объективности истолковывается Моррисом как субъективный процесс, имеющий место в субъектном сознании (1). Несмотря на эти уступки очевидному, смысл приведенной цитаты Морриса, как и вообще всего вектора классической семиотики, сводится к доказательству реальности знаков, их самождественности, т.е. собственно объективности. Применительно к языковому материалу такая позиция, по видимому, вводится прежними – античными – мыслимыми подлежащими. Так, Моррис с полной определенностью считает отдельные слова естественно-

---

<sup>2</sup> Моррис Ч. Основания теории знаков / Семиотика: антология, сост. Ю.С. Степанов. М., 2001. С. 59.

<sup>3</sup> Там же, с. 54.

го языка знаками, видит в них самостоятельную возможность иметь десигнат, язык определяется им как набор таких знаков, центральную роль в их восприятии и использовании отводится «правилам употребления» – т.е. по-видимому, чему-то такому, что подобно знанию сосюрковского «языка». По крайней мере, язык – не только «естественный», а любой – определяется Моррисом так:

*«Язык в полном семиотическом смысле этого термина есть любая интерсубъектная совокупность знаковых средств, употребление которых определено синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами»<sup>4</sup>.*

За этим определением следует замечание уже о знаках «языка», о «словесном» языке:

*«Интерпретация становится особенно сложной, а индивидуальные и социальные результаты особенно важными в случае знаков языковых. С точки зрения прагматики, языковой знак употребляется в сочетании с другими знаками – членами некоторой социальной группы; язык – это социальная система знаков, опосредующая реакцию членов коллектива по отношению друг к другу и к их окружению. Понимать язык – значит употреблять только те сочетания и преобразования знаков, которые не запрещаются употреблением, приняты в данной социальной группе, обозначать объекты и ситуации так, как это делают члены этой группы, иметь, когда используются определенные знаковые средства, те же ожидания, что и у других членов, и выражать свои собственные состояния так, как это делают другие – короче говоря, понимать язык или правильно его использовать – значит следовать правилам употребления (синтаксическим, семантическим и прагматическим), принятым в данной социальной общности людей»<sup>5</sup>.*

В формулировании этой «естественной семиотической» позиции, кроме предметности и системности, составляющих классическое учение о знаках вообще и в т.ч. языковых знаках, не последнюю роль играет и другое мыслимое подлежащее античного языкознания – логичность, т.е. априорное признание того, что роль «языка» состоит в *назывании* (правильном обозначении) объектов и ситуаций и что, более того, сам «язык» есть совершенный способ правильного называния-обозначения (так, у Морриса знать язык значит, «обозначать объекты и ситуации», «выражать состояния», у стоиков – выражать обозначаемое, мысли, уметь формулировать правильные, в т.ч. истинные, суждения). Соответственно, если роль языка состоит в том, чтобы называть-обозначать, и если каждое слово и есть то, что называет и обозначает (именно это признает за словом Моррис), получается, что пользователи языка только и делают, что без цели и смысла *называют* объекты-ситуации-состояния, как бы играя в игру «Назови правильно то, что видишь перед собой». Или, прибегая к

<sup>4</sup> Там же, с. 60.

<sup>5</sup> Там же, с. 61.

уже приведенной аналогии – пользователи «языка» всякий раз показывают фотографию Диона, когда думают о нем, и всякий раз думают о нем, когда видят его фотографию. Однако можно ли видеть смысл в такой игре? Не обесмысливают ли речевой процесс заданные пределы *объективного*, где с определенностью констатируется, что каждое слово имеет означаемое, связь между словом и значением регламентирована правилами, а пользование языком есть соблюдение этих правил? В чем же состоит цель этого всеозначивания, полностью детерминированного «языком» и по мере того полностью бессмысленного?

Нужно признать, что в классической семиотической системе, кроме самого означивания (называния), более ничего не возможно концептуализовать, поскольку рамки принятой описательной схемы более ничего не вмещают. Зачем же тогда говорящему говорить и писать, если выйти за пределы уже существующего «языка» все равно невозможно? Другими словами, – если вербальные элементы одни и те же, и значения у них одни и те же, и правила употребления у них одни и те же (всё вместе – это «язык»), то не ведет ли такое «объектно-семиотическое» понимание естественного языка к абсурдному заключению, что говорящему в таких условиях вовсе незачем говорить, кроме как с тем, чтобы поиграть в бесполезную игру «обозначь и уходи»?

Так, по-видимому, абсурдным было бы признать, что актуальные вопросы в диалоге прохожих на улице, просьба о помощи, о предоставлении кредита, требование возмещение ущерба, справка о доходах, научная статья о новом понимании античной надписи и т.д. суть какие-то названия и обозначения. Смысл их явно не в том, чтобы назвать, поименовать, обозначить, – а, скорее, в том, чтобы узнать, попросить, потребовать, засвидетельствовать, убедить и т.д. Стало быть, то, что происходит в процессе речевого оформления вопроса, просьбы и т.д. – не «обозначения, названия и наименования», а актуальные необходимые коммуниканту *действия*, имеющие мыслимые условия совершения и ожидаемые, лично актуальные результаты. По-видимому, смысл и значение вербального материала, использованного при совершении соответствующих действий, и состоит в том, чтобы производить личное актуальное результативное действие, а не просто находить соответствие между словом и денотатом, т.е. обозначать нечто.

Другими словами, античная семиотическая модель описания естественного языка, в которой «означающие» по правилам «называют-означивают» «объекты-ситуации-состояния», как раз не учитывает то, ради чего говорящий говорит – личную субъектную составляющую, в которой и заключен весь смысл – ради которого, заметим, говорящий говорит, а пишущий пишет. Именно это – новое личное действие, которого еще не было никогда в данной ситуации для данного говорящего и данного адресата – не определено правилами «языка», но именно ради этого действия говорящий и произносит свои слова (последние, заметим, определяются мыслимыми условиями действия и целями, а не «системой языка», которую ни один реальный говорящий не знает). Соответственно, то, что считается естественным «языком», не мыслимо вне субъектной реальности смыслообразования, которая с очевидностью состоит не в объективном означивании, а в произведении субъектного действия, осуществляемого в коммуникативном пространстве. Именно эта субъектность

и изгоняется из схемы описания языкового материала античной и сосюрговской семиотикой, которой индивидуальное сознание, интегрирующее (и интегрированное в) реальный процесс смыслообразования, только мешает.

С этой исходной античной позиции теория семиозиса не могла не сделать шаг в сторону субъектной природы знака. Так, например, А.Н. Барулин в монографии «Основания семиотики. Знаки, знаковые системы, коммуникация», написанной в начале нынешнего столетия (2002), при определении знака уже не обходит субъектную проблематику:

«Под знаком S пока в рабочем порядке будем понимать структуру, состоящую в простейшем случае из (i) некоторого чувственно воспринимаемого объекта X (= означающему знаку S), который некоторый субъект Ant (= адресанту знака S) в конкретном (iii) контексте  $\Sigma_i$  использует как модель (ii) не обязательно чувственно воспринимаемого объекта 'Y' (=означаемому знаку S) для того, чтобы субъект At (=адресату знака S) благодаря умению устанавливать между X и Y необходимое отношение  $\omega$  (= коду или кодовому отношению между означающим и означаемым знака S) распознал по объекту X объект Y и отреагировал на него в соответствии с правилами семиотического поведения, известными Ant'у и At'у»<sup>6</sup>.

Более того:

«Хочу обратить внимание читателя на одну очень существенную деталь. Нечто воспринимаемое становится означающим, по которому можно распознать нечто другое только тогда, когда мы имеем дело с коммуникативной ситуацией, а с коммуникативной ситуацией мы имеем дело только тогда, когда мы имеем дело с ситуацией моделирования, а с ситуацией моделирования мы имеем дело только тогда, когда имеется наблюдатель, который по некоторой модели M пытается построить заключение об объекте моделирования O на основании теории соответствий между элементами M и элементами O или на основании теории соответствий между элементами теорий T(O) и T(M). Следы на песке останутся только вмятинами на нем, а не знаками, до тех пор, пока не появится наблюдатель, который по этим вмятинам захочет понять, кто и чем их оставил. Успех в его деятельности может быть достигнут только в том случае, если у него имеется адекватная теория соответствий между элементами теории следа и теории того, кто его оставил»<sup>7</sup>.

Итак, субъект («адресант» и «адресат», «наблюдатель») не только замечен, но определен как одно из необходимых условий существования знака. С этой точки, казалось бы, уже вполне ясна и прозрачна вся *языковая* перспекти-

---

<sup>6</sup> Барулин А.Н. Основания семиотики. Знаки, знаковые системы, коммуникация. Ч. 1. М., 2002. С. 37-38.

<sup>7</sup> Там же, с. 43.



ва понятия «знак»: вне субъекта с его конкретными целевыми вербальными действиями нет языкового знака (так, слово, определяемое в словаре, не следовало бы считать языковым знаком, поскольку оно изъято из актуальной, субъектной, кому-то «лично необходимой» структуры, которая и составляла систему для исчисления значения данного элемента и, соответственно, для его понимания; именно поэтому, заметим, в словаре слово имеет сразу несколько значений – а в актуальном речевом процессе оно *никогда* не имеет всего спектра словарных «значений»). Однако, по-видимому, прежние основания семиотики и «естественного языка» настолько прочны, что преодолеть их на данной «сразу-после-античной» стадии оказывается фактически невозможным: в результате, несмотря на существование субъекта, остаются самостоятельные «единицы», и «система», и «правила употребления», образуя причудливое сочетание новых теоретических возможностей и прежних схем и запретов. Так, например, А.Н. Барулин говорит о сообщении – одновременно языковом и семиотическом феномене – следующее:

«Частным видом знака я буду считать сообщение. Сообщению довольно трудно дать какое бы то ни было определение. Могу лишь пояснить, что сообщение – это такой тип знака, на который адресат может уже реагировать (в отличие от знака как понятия более общего: на знак в общем случае реагировать еще рано, знак может быть и незаконченным сообщением, ср. в естественном языке отдельный морф или словоформу, не совпадающие с предложением). В языке животных знаков, меньших, чем сообщение, практически не встречается. В языке человека сообщение обычно равно предложению, меньше предложения – словосочетания, грамматические слова, морфы. На отдельные морфемы (если они, конечно, в то же время не являются предложениями, как, например, междометия типа "А?" или "О-о-о!"), слова, словосочетания реагировать еще рано, необходимо дождаться конца предложения»<sup>8</sup>.

Как видно, «отдельный морф», «словосочетание» или «грамматические слова» тоже, по мнению автора, являются знаками, они входят в систему «естественного языка», который определен «правилами», известными всем членам коммуникативного сообщества – другими словами, речь идет о прежних античных и соссюровских «подлежащих» языковой теории, которые, несмотря на признаваемую субъектность процесса семиозиса, не претерпели соответствующей коррекции: над говорящими по-прежнему господствует языковая предметность – слова сами по себе значат нечто («кубики с изображениями разложены перед говорящим и исследующим»), «система предметных элементов» работает по заданным (кем?) законам («зубцы-значимости одних слов входят в пазы-значимости других слов, механизм вращается»), и ее работа заключается в «обозначении».

Кажется, такое положение дел составляет повод к тому, чтобы был сделан следующий – предполагаемый естественной теоретической эволюцией се-

---

<sup>8</sup> Там же, с. 44.

миотики – шаг в понимании знаков и знаковых систем, а именно: невозможно говорить о знаковой системе до тех пор, пока субъектное сознание не назначило (т.е. не выделило из мыслимой панорамы) актуальную для себя целостность, в рамках которой выделяются затем и соответствующие актуальные элементы, имеющие значение постольку, поскольку входят в помысленную выделенную актуальную «систему». Другими словами, ни систему, ни знаки, ни семиозис невозможно непротиворечиво помыслить вне личного когнитивного процесса, т.е. вне говорящего (пишущего), действия которого *не означиваются* знаками, но он сам, из своих возможностей и целей, *означивает* мыслимое (придает ему личное актуальное значение).

Так, например, для субъекта возможно существование знаков и вне коммуникативных ситуаций, субъект не нуждается во внешней системе правил, чтобы придать значение тому или иному мыслимому факту. Скажем, для субъекта N наступление сумерек за окном (или, например, наступление шести часов вечера – «большая стрелка на 12-ти, маленькая на 6-ти») становится «знаком» того, что ему пора уходить из дома и идти в направлении назначенной цели, и т.д. Никаких систем, которые приписывали бы знаку «наступление сумерек» именно такое значение («выйти из дома и идти в соответствующем направлении»), естественно, нет. Однако именно это «означил» для N знак «наступление сумерек». И означающее, и означаемое, и вся система были *определены им* вполне независимо от каких-либо известных ему правил конституирования знаковой системы – данная система вообще не существует ни для кого, кроме N. Эта назначенная система «сработала» (N пришел вовремя в запланированное место), что и было единственной онтологической целью и смыслом назначения (=«существования») этой «системы».

Вполне закономерно то, что на «языковые знаки», взятые в их античном понимании, распространяются те же условия: «языковые знаки» не существуют до и вне субъектного когнитивного процесса. Так, отдельных звуков и фонем в сознании говорящих нет. Так же как в сознании говорящих нет морфем и отдельных слов. Также как нет в нем и «системы языка». И «звуки», и «слова», и их «системные» сочетания произносятся (пишутся) говорящими только в актуальных мыслимых ими ситуациях взаимодействия, входят для сложный комплекс личного действия, осуществляемого в осознанном коммуникативном пространстве. Все искусственно выделяемые «единицы языка» в изолированном состоянии представляют собой бессмысленные модели, которые в актуальных ситуациях коммуникативного взаимодействия могут получать от говорящих любые значения. Другими словами, в сознании говорящих присутствует типология имеющих значение действий, – и никакой «системы предметных слов», или «языковой системы». Именно эти действия (т.е. условия их совершения, цель и способы совершения) и есть то, что действительно мыслится говорящим (пишущим) – это и есть то, что образует тождественную назначенную «знаковую систему», единственно пригодную для исчисления значений несамостоятельного в себе предметного материала «языка». Мыслимая структура действия – всякий раз актуальная, субъектная, ситуативная – определяет «значение» предметных единиц, которые, заметим, нисколько не закреплены за этими действиями, не закреплены до тех пор, пока сознание не

произвело их «вербально-действенное» сочетание, не создало «дектическую синтагму».

Другими словами, эволюция теории знаковых систем предполагает упразднение понятия «знаковая система» в ее античном понимании: субъект отменяет античные предметные кубики как материал, из которого строится речевой процесс. Соответственно, абстракция «язык» как «система предметных единиц» – внесубъектное, вербально-предметное, социальное понятие – упраздняется семиотикой в числе прочих предметных знаковых систем. Самоотжественные «единицы», по-видимому, полагаются в области мыслимых действий в коммуникативном пространстве, в их мыслимой типологии, а не в области языковой предметности.

Таким образом, исследование знаковых систем последовательно проходит несколько стадий: семиотика вне субъекта, семиотика в предчувствии субъекта, субъектная семиотика. На последней становится очевидной необходимость упразднения статических объективных знаковых систем, в т.ч. «системы языка». Принцип, недвусмысленно следующий из самых ранних семиотических исследований нового времени, а именно: «значение элемента определяется системой координат, в которую данный элемент помещен или в которой как таковой выделен», – при условии введения субъекта в схему семиозиса оборачивается отрицанием объективных античных «систем» и их «единиц»: «системы» *назначаются* субъектом, они всякий раз актуальны, заданы возможностями и целями субъекта, их элементы имеют значение в рамках этих назначенных «систем». Соответственно, условность внесубъектного, вербально-предметного, социального «языка» становится *слишком условной* для использования в описании естественного речевого процесса. Такие исконные «знаки», как «слова», «звуки», «морфемы» и пр., вписываются (или должны быть вписаны) в *субъектную* модель речевого процесса, теряя и приобретая многое в новых теоретических условиях.